

Наталья ЛАВРЕЦОВА

г. Псков (д. Савкино)

*Посвящается моему отцу
Лаврецову А. П.*

ШАЛА

несравненная

рассказ



ШАЛА моя. Несравненная моя Шала...

Река забвения постепенно превращается в реку воспоминаний, приближая с реальной ясностью давно исчезнувшие и запечатанные в прошлом дни.

Я вижу себя на конце длинного домашнего причала, обвешанного в самом его основании многочисленными лодками, лодочками и плотами. А там, в начале его стертых от времени и шаркающих ног глянцевитых досок, как раз против ладно скроенной баньки — черемуха. Накрывает потоком ветвей небольшую ловкую скамеечку, на которой так приятно расслабиться, распустив до полного изнеможения мышцы, и сквозь наплывающую густоту ветвей следить за падающим солнцем.

Сейчас пройдет «Ладoga» — верх танцующего блаженства, и запоет река, затоскует в набегающих волнах старая развалившаяся баржа против дома, заиграют бортами лодки, и надо только не упустить момент, залечь на теплое зовущее деревянное дно — и реальный мир уплывет от тебя в чарующей пустоте необитаемого.

— Настасья! Чай пить! — разбивает блаженство кто-нибудь из четырех братьев.

И реальный мир подступает ко мне в виде большой плоской вазы, на которой скоплением белых куполов возвышаются воздушные пирожные.

— Ну бери безе-то, бери, не стесняйся! Которое на тебя смотрит?

На меня они смотрят все, и невольно рука тянется к самому большому, превосходящему всех своей пышностью.

— Ну, вот и правильно, а то чего глазами есть? Давай и чаю подолью, — взгляд тети Гали перемещается на меня, а четверо ее сыновей, моих старших двоюродных братьев, привычно перешучиваясь, подставляют к самовару большие цветастые чашки.

Мне хорошо сидеть за большим овальным столом, где солнце, отражаясь в глянцевом боку самовара, пускает в глаза веселые зайчики, мне радостно видеть лица моих повзрослевших за год двоюродных братьев.

— Давай, давай, жми, в городе-то, небось, тако-

го не поешь, знаем мы эти городские харчи, — пододвигает ко мне вазу старший из них, спокойный и уравновешенный Санька. — Мать старалась, специально к твоему приезду пекла.

Да, я знаю удивительную способность тети Гали печь эти самые безе. Наверное, Санька прав: в городе таких нет, там они маленькие, стандартные. А тут, наверное, виноваты чудо-печь, и яйца свежие деревенские, и тети Галино первоклассное умение. Хотя как они выпекаются — на самом деле я имею весьма смутное представление. Но во рту они тают.

— А как там «вооще», дядя Толя-то к нам собирается? — немного шепелявя и передразнивая отцову привычку к каждому слову добавлять «вооще», спрашивает голубоглазый Данька, средний по старшинству, а если быть точней — второй после Левки снизу либо третий сверху после Саньки и Герки.

— Да вообще-то собирается, к охотничьему сезону, думаю, приедет, — доказываю, что я точно дочь своего отца...

Охотничьего сезона ждали все. Шала преобразилась, подчиняя свой обычный ритм к ритму жизни съезжающих охотников. Запах пороха и дробы стоял в воздухе, перемешиваясь с запахом уток, тушеных в сметане, сочных жирных рыбников, запеченных в русской печи.

— Приедет, значит? — кивает Герка и, выждав паузу, продолжает пересказ какого-то фильма, заставляя братьев поминутно вздрагивать от смеха.

И даже тетя Галя, пытаюсь сохранить на лице выражение привычной строгости, мерно подрагивает головой, и в глазах ее, и в уголках губ теплится молчаливая усмешка. Мне даже кажется, что дело вовсе и не в фильме — ей просто нравится смотреть на Герку, на то, как он говорит, жестикулируя и передавая образы, и, может быть, она думает даже: «Какой бы вышел из него артист».

А может, ей просто нравится сидеть вот так — в своем доме, за своим столом, где в сияющем глазу самовара играет солнце, а во второй половине дома — корова-кормилица, и скоро придет час дойки. А тут — межхлопотье, и можно посидеть со взрослеющими сыновьями, послушать их разговоры и как бы исподволь, отстраненно понаблюдать за каждым:

что же на самом деле такое из них получилось?

Мне тоже хочется принять участие в общем разговоре — не сидеть же этаким болванчиком, поедающим воздушные пирожные. И по ходу разговора я вставляю какую-то, на мой взгляд, вполне увязывающуюся в тему разговора реплику. Но разговор вдруг замирает, все смотрят на меня — и зависшая пауза взрывается приступом смеха братьев.

Я догадываюсь, что сказала что-то не то, а что именно — не понимаю, ляпнула со знанием дела про какое-то кресло, краска начинает медленно заливать мое лицо. Нервничая, я крошу на скатерть белые крошки.

— Как ты сказала? Повтори! — упорствует докучливый Герка и тут же получает от матери увесистую затрещину:

— Что девку-то смущаешь, лоб великовозрастный! Подрстет — не глупее тебя будет! Все-му свое время! А ты слушай его больше, балабола этого! — поворачивается она ко мне.

— И то верно, мала ты еще, мала, пуговица совсем! — и, протянув руку за гнутую спинку стула, Герка незаметно дергает меня сзади за жидкий, стянутый резинкой хвостик.

— Почему это пуговица? — почти обижаюсь я на непонятный комплимент. Пуговица, на мой взгляд, это что-то круглое и глупое.

— Потому что к мамкиному подолу еще пристегнута, маленькая еще!

— Вовсе не пристегнута! — замечаю сердито, но братья все равно смеются, а тетя Галя, утешая, пододвигает ко мне вазу еще ближе:

— Да брось ты, не обращай внимания, балаболят они!

— Ну ладно, вы тут сидите, а мне пора, — Санька встает, не спеша задвигая стул. — Кстати, Герка, ты не забыл — сегодня моя очередь идти в туфлях на танцы.

Герка кивает, но уступать не торопится:

— Санька, будь человеком! — подкидывает он в голос просительных интонаций. — У меня, может, сегодня решающий момент!

— У тебя каждый день решающие моменты! — не смиряется Санька, и они начинают обычный препирательский диалог по поводу единственно модных, на их взгляд, мужских ботинок.

Братья очень привередливы, и, уж если одеваются, все на них должно быть с иголочки. И

шикарные заграничные туфли — презент одного из «плавающих» родственников — по очереди переходит к каждому из них. Я заранее знаю: победит все равно настырный Герка, а мягкий и податливый Санька, хоть и старший брат, ему уступит.

Темноглазый словоохотливый Герка хоть и похож на тетю Галю, а все не в нашу родню — играет в нем украинская кровь дяди Гоши. Сам же дядя Гоша в разговоре не участвует, лишь посмеивается слегка, прихлебывая чай. Но почему-то кажется, что атмосфера этой доброй семейственности как раз и создается этим его улыбчивым молчанием.

...Шли годы, и я по очереди влюблялась в каждого из моих братьев, словно последующий год прибавлял им новые достоинства. То вдруг зацветал есенинской красотой угловатый Данька, покрываясь волной светлых кудрей, и я обнаруживала в нем нежную поэтическую душу, то в мягкой уступчивости Саньки я разглядывала склонность к молчаливому рыцарству, и он поднимался для меня на пьедестал выше.

Но всегда, вне любой конкуренции, был Левка. Разница в возрасте у нас укладывалась всего в полтора года, и хоть я признавала в нем старшего, но все равно он был где-то рядом, поблизости, а не в том недостижимом далеке, как все остальные братья. И это именно Левка спасал меня в детстве от трепок тети Гали, соседских хулиганов-мальчишек, проявляя истинно братскую любовь. Он стирал на лавине мои платья, к которым приставала то смола от лодок, то вязкий ил, то какие-нибудь сомнительные пятна, обозначающие знаки пребывания на природе.

— Девчонка, а хуже парней! — корила меня тетя Галя. — Они и то аккуратнее ходят. Думаешь, есть у меня время тебе платья стирать? Еще раз застану в таком виде, так и знай, выпорю! Вот сраму-то будет перед парнями!

Я знала крутой тети Галин нрав, закаленный на воспитании четырех сыновей. Бог не послал им девочку, хоть, видимо, они каждый раз и надеялись. Зато вот родному младшему брату Бог послал, да, похоже, не совсем такую, какую хотелось бы видеть тете Гале.

Я изо всех сил старалась ее не огорчать, но всякая гадость цеплялась ко мне словно сама собой.

И тогда Левка, не желая портить мой полноценный летний отдых, взял на себя обязанность следить за моим внешним видом. Он соскабливал палочкой смолу, отстирывал прямо в реке травяные пятна, и к приходу тети Гали проглаживал нас вместе с платьем пылающим утюгом. И тетя Галя, поворачивая меня перед собой в разные стороны и исследуя с вредной придирчивостью, оказывалась бессильна.

И это именно Левка спас меня, когда однажды, оттолкнувшись багром от берега, я оказалась в стремительном водовороте реки, где багор превратился в ненужную палочку, а подхваченный течением плот несло... А на горизонте уже маячила многопалубная «Ладога», запросто грозя погresti меня под собой. И мысленно, коря себя, я уже посылала свое последнее «прости» тем, кто был мной любим и дорог.

Тут и появился, как великий спаситель, Левка, уже в самом русле реки догнав меня на моторке и прямо под носом у «Ладоги» выкраив из стремительного потока. Подтянув к себе плот, он крепко привязал его к моторке. Меня тут же отбросило в его лодку швартовой волной братской любви.

Но Левка не оценил наплыва моих чувств, он монотонно вел лодку, а сзади тащился, пронося свое унылое бесславье, мой напроказивший плот. И, уже привязывая лодку к лавине возле самого дома, взглянул:

— Ну а теперь — готовься! Дальше помочь я тебе не смогу...

И я поплелась вперед по указательному знаку лавинки, мимо баньки и черемухи, мимо маленького садика, прямо в жернова тети Галиной мельницы, готовой выполнить данное мне когда-то обещание...

И еще, я думаю, потому так близок мне был Левка, что он один вобрал в себя все те качества братьев, за которые я любила каждого из них в отдельности: смуглую красоту Герки, нежную душу Даньки и Санькину молчаливую рыцарскую покладистость.

Летняя поездка в Шалу была роскошью нашего неизбалованного детства. Стоило только родителям перекинуться парой слов — внутри сладко и волнительно начинало замирать сердце.

— Не пойму, и чего тебя туда тянет? — пожимала плечами мама.

А отец, придавая голосу весомость уверенного в своих словах человека, солидно произнес:

— Ну как — чего? Сестра все-таки родная! Да и на могилу к матери съездить надо.

И это был его самый правильный ход. Мама считала, что человек, не чтящий родства, не признающий родовых корней, — и не человек вовсе, а так, ветродуй пустой.

Удочка была закинута, и «Ладога», поигрывая бортами, уже плавно поддевала причал, и места в каюте с окнами на палубу готовились стать нашими, и плыло уже в рот тети Галино безе, и куча песка за окном манила, словно россыпи пустыни Сахары...

Но отец мог запросто уехать туда один, оставив нас с братом прощально махать руками на берегу. И снова — ожидание, уговоры, сборы...

Но вот, наконец, все позади. С запасом продуктов на дорогу, городскими гостинцами и сменной парой белья мы подходим к нежно вибрирующему под ногами причалу, а симпатичные молодые матросы, протягивая нам руки, уже помогают взойти на палубу.

И мгновенно оказываешься в другом мире: ярком и праздничном, оторванном от всякого земного быта, состоящем из запаха ветра, вкуса брызг на губах, бесконечных лабиринтов «Ладоги». И даже штормовая погода и раздраженное хлопанье волн за бортом только дополняют картину абсолютного счастья.

— Ну... — довольно потирает руки отец, едва очертания города с оставшейся на берегу мамой скрываются за бортом. — Что делать будем?

И мы уже заранее знаем его ответ.

— Может, в ресторан сходим, а? — нащупывает он наше согласие. — Покормлю вас хоть как следует, а то еще отощаете за дорогу.

— А как же это? — киваю я на провиант, усердно взывающий со столика. Словно предвидя порочные порывы мужа, мама постаралась уж как следует: весь столик заставлен всевозможными упаковками, пакетиками, баночками, заботливо приготовленными и уложенными ее руками.

— Материно продовольствие-то? Да не пропадет, не расстраивайтесь! — оптимистично заявляет отец. — Зато посмотрим хоть, какая она — ресторанная кухня. Раньше-то неплохо кормили, может, за год что переменялось.

Отец суетится, словно боясь услышать наше несогласие.

— А то ведь, поди, вы еще и в ресторанах-то не бывали, — торопится начать он наше образование.

И я, кажется, знаю, почему ему так хочется тащить нас туда. Политика тонкая: на случай, если мама потом спросит: «Чего тебя туда понесло», — у него будет достойный аргумент: «Так детей ходил кормить, сами запросились».

Но, так и не дождавшись нашего активного согласия, он все равно идет и ведет нас туда. И мы плетемся — деваться все равно некуда, и чопорно сидим над накрахмаленной белизной скатерти, со скучной осторожностью прикасаясь к скальпельно холодным ножам и вилкам.

А отец чувствует себя здесь вполне уютно. Небрежно откинувшись на спинку стула, он начинает ощущать себя хозяином жизни. Перед ним на столике стоит маленький графинчик рядом с такой же маленькой рюмочкой, и он наливает себе из этого графинчика в эту рюмочку и при этом заметно веселеет, подмигивает нам. Глядя сквозь ресторанную публику на плывущую в окнах синеву, начинает напевать душевно подрагивающим голосом:

— *Пароход белый-беленький,
черный дым над трубой,
Мы по палубе бегали, целовались с тобой.
Ах ты, палуба-палуба, ты меня раскачай
И печаль мою, палуба, расколи о причал...*

Будь здесь мама, она бы обязательно постучала по тыковке его маковой и прищкнула со строгой усмешкой:

— Ну, Удальцов, и ума у тебя — как у малого ребенка! Пойдем отсюда, хватит меня позорить!

Но мамы сегодня нет, и Удальцов может сколько хочет сидеть и сколько хочет петь про палубу, и никому в голову не придет выяснять — сколько же на самом деле у него ума.

— *Пахнет палуба клевером, хорошо, как в лесу,
И ромашка приклеена у тебя на носу...*

— Вы хоть знаете, что я в морских войсках служил? — прервал он себя, решив, под настроение, поговорить: — Да, всю страну прошел вдоль и поперек! Э, да вам такое и не снилось!

Мы начинаем обеспокоенно ерзать, теребя

накрахмаленные углы скатерти, — как бы воспоминания не затянулись. У нас на ресторан свои планы: надо набрать хлеба, как можно больше хлеба — потом мы идем кормить чаек. Собственно, и в ресторан мы согласились пойти именно ради этого.

Если их не кормить, то белый, волочащийся за теплоходом шлейф постепенно опустеет, нарушив гармонию воды, воздуха и кочующего на просторе корабля. А если кормить — они будут требовательно и звонко кричать за кормой, выхватывая пищу прямо из рук, обдавая брызгами и близостью живого вольного мира. Раскинув крылья — парить, виснуть в воздухе и вдруг камнем падать вниз, пластаясь к воде, а насытившись, долго качаться на волнах белыми поплавами, постепенно исчезая за видимостью горизонта.

И это будет похоже на настоящее счастье.

— Между прочим, я ведь и в Японии воевал. Да, пришлось, в конце Отечественной. Начал простым юнгой, а дослужился до старшего лейтенанта. Дома-то у меня и медаль есть. Не видели? Приедем — покажу. Мать куда-то прибрала...

И Удальцов, довольный собой и окружающим миром, барабанит по столу костяшками пальцев, и я, кажется, знаю, что будет дальше.

А дальше — отправив нас кормить чаек, он подхватит в танце какую-нибудь приглянувшуюся ему даму и увлечет в вальсе, забыв, что он и отец, и Удальцов, и мелкий служащий государственного учреждения, с которым не слишком церемонится жена, обходят вниманием дети и который — что греха таить! — не прошел по жизни легкой играющей походкой, на ходу сбивая золотые плоды с дерева счастья.

— Твой папа отлично вальсирует, — говорили мне знакомые взрослые тети.

«Ну-ну», — усмехалась я, не особенно вглядываясь в его бурное прошлое, где, может, вот так, в вальсе, он вскружил голову моей маме.

Но эти общие поездки в Шалу были давно, по мере взросления мне приходилось все чаще ездить туда одной...

И вот — я снова стою на борту «Ладоги». Вечереет. И это значит — скоро Шала. И надо не упустить момент, когда «Ладога», покинув озеро, начнет неторопливо разворачиваться в устье ре-

ки. Сейчас по левому берегу я увижу скалы — расщепленный каменными морщинами берег. Слово лицо мудрого старца, он притягивает к себе.

Сюда — раньше с разными тетями, братьями и дядьями — мы ходили ловить рыбу. Сюда же, повзрослев, я отправлялась одна с запасом мечтаний и рыболовных снастей, под тети Галино покачивание головой: «Ну, девка дает!», под Левкино насмешливое: «Ну-ну...»

Идти приходится мимо уснувшей в своей окаменелости деревянной баржи, которая застряла здесь когда-то с солью да так навсегда и осталась. Потрудившись, можно отсечь кусочек соли, или, уподобившись верблюду, слегка полизать напитанную солнцем и дождем затвердевшую глыбу.

Но вот уже позади и распластанные по земле белые всхолмленные наросты, и наш теплоход с неторопливыми повадками почтенного джентльмена, медленно разворачиваясь, входит в устье реки, а потом и в саму реку. А навстречу ему летят, словно вытягиваясь в дружеском рукопожатии, легкие деревенские лавинки.

Я стою, втиснувшись в толпу вдруг огрузневшего на один борт теплохода, нетерпеливо поглядывая в сторону берега. Я первой должна увидеть силуэт затонувшей баржи перед домом, я каждый раз волнуюсь — не разнесло ли еще в щепки ее старое дряблкое тело.

Но — слава богу — она на месте! А почти сливаясь с ней, на самом конце длинной домашней лавинки стоят и машут мне руками четверо моих старших братьев.

— Э-ге-гей! — кричу я и машу им тоже своей белой псевдоклассической шляпой. — Здесь я, здесь!

По собственному опыту знаю — они все равно ничего не слышат, двигатель мотора заглушает звуки. Но я все равно кричу, я не могу не кричать — ведь там, на берегу, мои братья, и они должны увидеть меня с этой шляпой и в этом платье, стоящей на палубе красивого белого теплохода.

Отсюда, со стороны реки, мои взрослые братья кажутся мне такими маленькими — я без труда могла бы спрятать их в ладошке, но с каждым летящим метром они приближаются. И вот я уже вижу темный чуб Герки, который уже перерос Саньку, и покрытого волной светлых кудрей Даньку, и... и...

Впереди всех — Левка. Ростом он уже почти догнал Даньку, и я невольно вздрагиваю, отмечая в нем раннюю мужскую зрелость.

А еще я вижу, что дом окончательно зарос садом и черемуха совсем накрыла потоком ветвей маленькую белую скамеечку.

А еще чуть терпения, и «Ладога» проплывет, оставив позади старую баржу, вместе с лавинкой и братьями, и не спеша подрулит к причалу. Она еще чуть помедлит, разворачиваясь боками, словно примеряясь, а с берега в широкую грамфонную трубу грянет:

— Принять швартовые! Опустить трап!

Никто из присутствующих на теплоходе не знает, что человек в форме с трубой-громкоговорителем не кто иной, как дядя Гоша. Наш дядя Гоша.

Дядя Гоша — начальник порта. Это именно он отдает команды, крепко прижимая рупор к губам. По его приказу причаливают и отчаливают теплоходы, принимаются и отдаются швартовые, без его приказа никто не посмеет сойти на берег.

Там, дома, дядя Гоша почти незаметен, он что-то делает в своей мастерской, изредка бросит реплику за столом, защищаясь от подколов подрастающих сыновей и укоряющих взглядов тети Гали, а здесь он главный.

Мне приятно, что меня встречает сам начальник порта, строгий человек в синей элегантной форме. Сейчас он отдаст команду — и пассажиры начнут сходить на берег, и я не спеша сойду тоже. Подойду к дяде Гоше, и он расцелует меня троекратно, как и полагается по русскому обычаю. А потом, отправив теплоход дальше по маршруту, пойдет с нами домой пить чай.

Но еще раньше я попаду тут же, на причале, в объятия тети Гали и всех своих четырех братьев, которые, пока «Ладога» разворачивалась, уже успели прибежать из дома на причал. Теперь они стоят в стороне, чуть смущаясь и поглядывая на меня, словно тоже оценивают мое годовое повзросление...

От причала до дома ведет длинная дощатая мостовая, местами обильно усеянная овечьими и козьими кругляшами, которые когда-то в детстве с Левкиной легкой руки я приняла за «драже в шоколаде».

Но вот уже и дом, и калитка, отпущенная щеколдой, раскрывается сама собой, обнаруживая длинную дощатую мостовую, которая, минуя дом, постепенно переходит в лавинку, плавно скользящую над водой. И я сразу бегу на нее, такую знакомую мне с детства. И теперь уже с самого ее конца смотрю в реку — на затонувшую вблизи баржу, словно тоже желая оценить ее возрастные перемены: можно ли еще, перебравшись на плоту или лодке, посидеть там с удочкой — выдержит ли? Но старое затонувшее судно уже крепится из последних сил.

Сам дом располагался в глубине двора, окруженный палисадником и огородом. А стоит преодолеть несколько крашенных ступенек — и попадаешь в крохотный чистенький коридорчик, который, в свою очередь, переходил в другой, более просторный, связывающий все двери дома, весь заставленный этажерками и тумбочками, на которых горделиво возвышались кувшины и банки с молоком, сметаной, сливками, так и дразня поддаваться искушению. Было сплошным мучением, проскакивая мимо, удержаться и не запустить в сливочную густоту палец.

Правая, жилая, половина предварялась кухней, в которой царствовала печь — настоящая, русская, с доброй лежанкой, прикрытой ситцем. Можно было нырнуть под ее полог и, просунув голову между занавесок, погримасничать со своим отражением в зеркале — прямоугольном, старинном, сохранившемся еще с давних бабушкиных времен.

Я помню и сейчас высокую поджарую старуху, статную и строгую, державшую в руках жизнь всего дома. Но еще больше воспоминаний о бабушке связано с посещением старого деревенского кладбища, где в заросших тиной прудах мы с Левкой ловили тритонов, ели вкуснейшее рассыпчатое печенье, которое специально для этой поездки готовила тетя Галя.

На кладбище ездили всей семьей на большой моторной лодке — такой просторной, что, даже повзрослев, я спокойно умещалась под ее кормовой лавкой, задремывая там под мирное жужжание мотора. Надо сказать, что река летом выполняла все функции дороги и в этом качестве использовалась особенно активно, неся на себе большие теплоходы, маленькие катера с баржами, перевозящими лес,

разнокалиберные моторки, плоты и весельные лодки.

Ездили обычно по воскресеньям, и это было даже похоже на праздник. Несмотря на невеселую цель путешествия, предстоял отдых, день на природе. Мы знали, что взрослые будут расслаблены, не задерганы работой, к нам никто не станет приставать и можно сколько угодно ловить тритонов и сколько угодно поглощать вкусное тети Галино печенье.

...Бабушки давным-давно нет, но по привычке одна из комнат так до сих пор и зовется «бабушкина».

В это последнее лето Шала мне стала словно слегка тесновата.

Все, кажется, было по-прежнему. Дядя Гоша так же отдавал команды на причале и так же что-то подолгу колотил в своей мастерской, ну разве что стал еще более молчалив. Все так же мы пили чай за большим овальным столом в комнате с окнами в сад, когда приходила с работы тетя Галя. Потом она начнет хлопотать, готовить ужин, заниматься хозяйством, но пока это был ее час. Сыновья старались, готовили чай сами, к приходу матери ставя самовар. И тетя Галя сидела, царствуя, посмеиваясь и отдыхая.

Все так же шутили, подкалывая друг друга, братья, но меня почему-то они уже не поддевали шутками, и даже Герка не отваживался дернуть сзади за хвостик. Впрочем, и хвостика уже не было тоже.

Мы с подружкой Люшкой, приехавшей со мной погостить, спали в большой комнате на диване. Сквозь ситцевые занавески на нас глядели с подоконника герани, за окном спала река, а сверху следил за нами с плотного небосвода пристальный прищур месяца.

Диван казался тесноват для двух здоровых долговязых девиц, приехавших на природу повышать свое образование. Подолгу мы сидели вечером в садике, обложившись книгами, собираясь в этом году сдавать экзамены в институт.

— «Не могу я спать у стенки — упираются колени», — блябли по очереди, стаскивая друг с друга одеяло, дурачась и выбалтывали ночь наружу. Ворочались и подолгу не могли заснуть.

А утром, уже всюю катящимся в день, выволакивали себя во внутренний дворик и, принуждая

друг друга, делали зарядку, отбивали чечетку по деревянной мостовой.

Приходила на обед тетя Галя и покалывала нас взглядом:

— Меня сейчас на работе спрашивают: «Кто это у вас там по двору среди бела дня скачет? Делать им, что ли, больше нечего?» А я говорю: «Это ко мне племянница с причудой приехала!»

Я почти обижаюсь на такое тети Галино, на мой взгляд, неудачное сравнение, а Люшка дипломатично начинает похохотывать:

— Как здорово вы сказали, Галина Павловна: «племянница с причудой»! Ха-ха! Племянница, значит, это ты, а причуда, получается, я! — ловится она на игру слов.

Но тетя Галя, не вникая, продолжает:

— Люди простые, деревенские, им всяких тонкостей не понять. «Лучше бы, — говорят, — они тебе полы в доме вымыли, чем без дела по двору скакать, энергию тратить».

Ну не первый раз поддевает она меня этими полами. У тети Гали вообще все просто, никаких тебе сверхидей: вымыть полы, подоить корову, покормить кур. Мир ее жизненных ценностей ограничивается вполне конкретными вещами.

— Да вымою я эти полы! — отмахиваюсь в очередной раз.

— А-а... — машет рукой тетя Галя. — Дождешься! Все бы только книжки читать. А чего их читать, если вы главного не понимаете? Про что книжки-то ваши?

— Про любовь, конечно! — подкалывает, прислушиваясь к нашему разговору, сидящий на крыльце Данька.

— Про любовь? — качает головой тетя Галя. — А что это такое, по-вашему, любовь?

Я могла бы ответить тете Гале, но вряд ли она поймет. Ну хотя бы, к примеру, словами Антуана де Сент-Экзюпери: «Любить — это, значит, смотреть не друг на друга, а в одном направлении». Или что-то в этом роде. Любовь — материя высокая и тонкая. Могла бы сказать еще и по-другому, но...

Но, продлевая политические ходы Люшки, пытаюсь нейтрализовать тетю Галию ее же вопросом. Чтобы соскочить с тонкой темы невымытых полов:

— Ну, а по-вашему, тетя Галя, что такое любовь?

— Да ну вас, — отмахивается она. — Есть мне время про вашу любовь думать!

— Нет, правда, Галина Павловна, как вы думаете, нам же тоже интересно! — поддерживает меня Люшка, и мы наседаем уже вместе. — Скажите, тетя Галь!

— Ну что-что? По-моему, любовь — это... — тетя Галя вздыхает и на минуту задумывается. — Полы вот, например, чистые. Молоко на столе свежее. Обед вкусный. Коврики в доме вытрясенные. Вот, по-моему, это и есть любовь!

— Любовь — молоко? — тарашу я изумленные глаза. Высокое чувство, воспетое Петраркой, Шекспиром, Пушкиным, приравнять к чистому полу? К выбитым коврикам?

— Да отстаньте вы от меня с вашей любовью! Мне вон корову доить надо! — ретируется она, не разглядев в нас никакого встречного понимания.

...Прошли годы, и, как ни странно, со временем я поняла тетю Галю. Просто она не объяснила нам тогда всей длинной связующей цепочки до конца, подобно той, которую проходит само молоко, от съеденного коровой душистого сена до стакана на столе. Наверное, просто, когда любишь, хочется, чтобы людям, которых ты любишь, было хорошо, тепло, вкусно и уютно. И стараешься, чтобы молоко на столе было свежим, полы, по которым ходят любимые ноги, чистыми, обед — вкусным. И потому, хочешь или нет, пойдешь доить корову, вымоешь полы в доме, вытрясешь половики и расстелешь их снова, на чистом — с любовью.

Но тогда мы не поняли всей этой цепочки, и усмехнулся только с деревянных ступенек крыльца вслед нам Санька:

— Книжная у них любовь еще пока, книжная!

— Ничего, повзрослеют — поумнеют! — не дал нам окончательно пропасть, оторвавшись от жизни, оптимистично заряженный Герка, забивая между тем пыжи в патроны.

Сидя на крыльце, братья дружно осматривали, заглядывая в стволы, свои ружья — близилась пора охотничьего сезона...

Но Люшка вскоре уехала, и я затребовала у тети Гали простыню, чтобы перебраться на чердак.

— В доме, что ли, места мало? Брось дурить! — как всегда, не поняла она моих высоких стремлений.

— В доме душно, а на сеновале воздух свежий и к небу ближе!

— Все вы там в городе с ума походили! — протягивает она мне свежую простыню, и, пока не передумала, я тороплюсь укрыться в душистой прерии сеновала.

Мне нравится спать на сеновале. Нравится ощущать живую населенность спящего дома, слышать внизу уютные вздохи коровы, ленивую воркотню кур, мягкое блеянье флегматичной козы Дашки. Я чувствую себя здесь частью вселенной, живой и трепетной, с тепло потеющими звездами за окном, тоже мычащими и блеющими, пахнущими свежим парным молоком.

И потом там, внизу, чуть левее по коридору, совсем близко к чердачной лестнице, «комната парней», где сейчас живет Левка. Когда все уснут, мы с ним можем немного поболтать, утвердившись каждый ближе к своему концу лестницы. Хотя «болтать» с молчаливым Левкой занятие не из простых.

Я слышу, как, будто невзначай, проходит он внизу мимо моей лестницы и под его шагами поскрипывают половицы.

— Левка! — окликаю, давая понять, что я готова к диалогу.

— Чего? — тут же с готовностью отзывается он.

— Скажи что-нибудь! — пристраиваюсь я к своему концу длинной приставной лестницы.

— Чего сказать-то?

— Ну, не знаю... — «Какую бы тему выбрать для Левки?» — Ну вот скажи: как ты думаешь, получится из меня артистка? Тетя Галя говорит — получится.

Это я нарочно, чтоб подразнить Левку.

— Ну... — снова отвечает он, но что это — вопрос или ответ — я не знаю.

— Я тебя спрашиваю, как ты думаешь, данные у меня есть?

— Ну...

— Ну что ты все заладил «ну да ну»! — смиряюсь я, поняв, что пытать Левку — занятие бесполезное. — Ладно, лучше подай-ка мне стул! Хотя нет, погоди. Сначала сядь на него: я прочту тебе стихотворение.

Мне все-таки хочется вывести Левку из состояния этого бесперспективного «нуканья».

Левка послушно садится и снизу вверх глядит

на меня. А я начинаю читать, выдавая ему результат полуночного бдения, вырыданный к утру вместе с криком петухов и мычанием изголодавшейся коровы Зорьки.

— Стихотворение называется «Езда на велосипеде»:

*Этот вечер, как игрушечный,
на ладошке уместается,
Целовать тебя в макушечку —
никому не запрещается.
Что нам горка, что нам горочка,
что нам встречные автобусы,
Если рядом твоя челочка,
если выются твои волосы...*

Первая часть стихотворения ведется как бы от лица мужского пола, которое везет на велосипеде, на раме, лицо женского пола. Все это я предварительно объясняю Левке — ведь это именно он половину моего детства прокатал меня на велосипеде по всем деревянным мостовым Шалы.

Я заканчиваю читать и жду — должен же он хоть как-то отреагировать. И Левка реагирует:

— Ну!

Я вздыхаю сокрушенно, хоть и чувствую в этом его «ну!» какой-то особенный ударный подтекст.

— Ладно! — вздыхаю, поняв, что все равно больше ничего не добыю. — Давай сюда стул!

Левка берет его одной рукой за ножку и начинает с ним подниматься. Я понимаю, что он так выпендривается специально, чтобы я смогла оценить, какой он сильный.

— Ой! Ну просто номер для цирка: эквилибрист Левка со стулом на чердачной лестнице! А не уронишь?

— Могу еще и тебя удержать, — самоуверенно бахвалится он. — Садись!

— В самом деле сможешь? — подкальываю, чтобы вызвать его на диалог.

— Запросто! — я вижу, как старательно напрягает он под футболкой мышцы.

— А если и вправду сяду...

Его голова уже почти поравнялась с чердаком. Совсем близко я вижу его лицо с коротко стриженной прической «под ёжик», чуть распушенной по лбу челочкой. Такую причёску он стал носить с тех пор, как поступил в прош-

лом году в речное училище. Мне нравится его форма — она ему идет, и откидной воротничок сзади, и полоски тельняшки на груди — все это окружает Левку ореолом романтической таинственности.

— Садись!

— Ну смотри, допросишься! Вот возьму и...

— Ну? — Вижу, как еще больше напрягает он мускулатуру.

— Ну держись тогда! — уже почти поддаюсь я на Левкину провокацию.

Я поднимаюсь со своего конца длинной деревянной лестницы, чтобы осуществить этот смертельный номер под куполом чердака, но Левка, переусердствовав... вдруг теряет равновесие и, проиграв по всем ладам лестничных перекладин, вместе со стулом с грохотом катится на пол!

В ту же секунду темнота взрывается громовым голосом тети Гали:

— Бесы какие! Спать не даете! Дня вам, что ли, мало! Вот я вам сейчас...

Левка мгновенно исчезает, ретируясь в свою комнату. Я стремительно валюсь на соломенный тюфяк. С тетей Галей шутки плохи, тем более ночью, ей ведь уже скоро вставать, доить корову.

...И вот наступила Левкина очередь меняться с Данькой парой сверхмодных башмаков. Он обувает на ноги остроносые лакировки и на весь вечер исчезает из дома.

Как потерянная брожу я по дому и по саду, пытаюсь читать, но книга валится у меня из рук, и на Геркин вопрос: «Ну что, скучаешь?» — я старательно улыбаюсь, но и улыбка получается какая-то вымученная. И уже совсем вечером, как бы случайно, проходя, я заглядываю в комнату парней.

Здесь все дышит присутствием Левки. С трепетом, не имея сил удержаться, я прикасаюсь к его вещам: к ручке, к его блокнотику, забытому на столе. Интересно — что там? Наверное, плоды Левкиных мечтаний, его мальчишеских фантазий.

Конечно, я понимаю: заглядывать нехорошо, но мне так грустно, так хочется хоть чуть-чуть прикоснуться к Левкиному миру... Ведь, наверное, и мир у него такой же особенный, как полоски тельняшки на его груди. Я

начинаю перелистывать блокнот, с торопливым усердием глотая строчки.

В основном здесь записи каких-то песен. Но вот на последней странице что-то привлекает мое внимание. Еще не понимаю, что именно, только сердце вдруг начинает биться учащенной. Строчки падают в меня раньше, чем я успеваю что-то сообразить: «Ну не понимает она, дылда эта великовозрастная, кузина моя, — не стихи мне сейчас нужны, а... Женщина нужна, настоящая женщина. Только женщина может сделать мужчину мужчиной».

Я торопливо захопываю блокнот.

Краска начинает заливать мне лицо. Отчего-то вдруг становится до тошноты муторно и скучно.

Я слышу, как приходит он ночью. Глубокой ночью приходит Левка, а на следующее утро за самоваром все смеются, что Левка был на танцах и кого-то там подцепил.

А я сижу и сосредоточенно дую на блюдце, чтобы пронирыливый Герка, не дай бог, чего не заметил. И все-таки не выдерживаю и, расфырвав весь чай, позорно выбегаю из-за стола.

А потом я иду на причал и покупаю билет. На ближайший рейс, на «Ладогу». Потому что...

Потому что у Левки сегодня опять модные ботинки и он снова пойдет на танцы. И всю ночь над берегом будет греметь музыка, страдая голосом Аллы Пугачевой:

Я от горечи целую всех, кто молод и хорош,

Ты от горечи другую молча за руку ведешь...

А я под бляенье и мычание буду думать о том, как я его презираю. И еще: как он становится там мужчиной. И для чего вообще ему им становиться? И еще я буду думать, как бы поскорей мне уехать и прославиться, чтобы они поняли, кого проглядели и недооценили в текучке своей обыденной жизни...

...И — прошло время.

«Ладога», как старый заслуженный боец, давно ушла в запас. По реке, как шустрые водяные пауки, бегают вездесущие метеоры.

И нельзя помахать шляпой, стоя на высокой просторной палубе над неторопливо плывущей водой. И никто не выпустит дух, не затынет над вольным широким берегом:

Пароход белый-беленький,

черный дым над трубой.

Мы по палубе бегали, целовались с тобой...

Всё не как у людей...

рассказ

— Уж на этот раз обязательно, — упорно ковылял Григорий рюкзак. — Я и так перед родными в дураках. Доехать не можешь...

С покорной обреченностью Станислава выслушивала его аргументы. Наверное, он прав. Но легче от этого не становилось.

Душа ее противилась. Ей совершенно не хотелось ехать в эту, как ее... Дорянку. Почти двое суток поездом, потом два часа автобусом... Да и что это за название такое — Дорянка? То ли доят, то ли дарят — не поймешь, что и обозначает.

Конечно, двое суток — это пустяк, хотя для нее все, что находится там, за Уралом, представлялось другим далеким миром. Дикая Азия.

Но, собственно, дело было даже и не в этом. И даже не в том, что у нее уже был опыт семейной жизни со всеми вытекающими последствиями. С прилегающими свекровьями, домашними обедами по воскресеньям, натянутостью светских бесед. Но куда денешься — понимала она: это необходимая составная часть семейной жизни.

Дело было глубже. Как бы это сказать...

Они с Григорием... были людьми разных культур.

Станислава выросла в городе, впитав в себя и все элементы городской жизни. Ее первый муж тоже был типично городским человеком.

Как ее вынесло на этого Григория, она и сама не знает. К этому времени семейная жизнь потерпела крах, и Стася, чтобы заполнить образовавшийся вакуум, поступила на философский факультет одного из столичных вузов. Вероятно, затем, чтобы философски осмыслить происходящее в ее собственной жизни.

Тут и появился Григорий, которого тоже занесло сюда непонятно каким ветром. Их отношения явились следствием активных, продолжительных и целенаправ-

равленных действий Григория. Стася, заик-ленная на собственных проблемах, скорее всего, его вообще бы не заметила, если бы он сам не принялся о себе постоянно напоминать: то приглашением на чай, то предложением сходить в магазин. Он ремонтировал в ее общежитской комнате охромевший стол, бежал следом в театр, на разные вечера и выставки в попытке приобщиться к достоениям столичной культуры.

Как-то незаметно Стася поняла, что ей самой уже ничего не хочется делать. С деревенской добротностью и неторопливостью Григорий переложил на себя весь круг скучных бытовых проблем, будь то беготня по магазинам, готовка пищи или мытье посуды. А когда произошло то, что выводит отношения на качественно новый уровень, он почувствовал еще большую ответственность, кормя Станиславу плохо прожаренными окорочками собственного приготовления и всем тем, что делал, хоть и с большой старательностью, но редко удачно.

И вот после очередной летней сессии вопрос был поставлен ребром.

— Сколько можно? Надо мной и так все смеются. Женат, не женат? Жены никто не видел. Уж на этот раз я обещал тебя довести. Твердо! — даже попытался он рубануть в воздухе ладонью.

— Но что я буду делать в этой твоей... Дорянке? Коров доить? Даже не знаю, о чем разговаривать! — морщилась Стася: слово «женат» тоже не вызвало в ней дополнительных положительных эмоций. До этой темы она еще не созрела.

— Будешь молчать. Я сам буду... разговаривать.

— Ты? — усмехнулась Стася. — М-да...

«Разговаривать» — было для него слабым местом. Предел его красноречия обычно заключался в словосочетаниях: «ну ты это...» или «ну ты давай не того...» Особенно эти коренные местечковые словосочетания выдавали, когда он волновался.

— Ну и что, — говорил он, привычно окая, — ведь пишу-то я правильно.

И действительно, письма и курсовые работы на философские темы Григорий писал грамотно и без диалектных изысков. А пофилософствовать он любил...

Стася, привыкшая к нормам языка, проце-

женного городской культурой, первое время просто страдала: так резали слух все его чоканья, оканья, «то», «это». Теперь расклонированное в его родственниках подобное красноречие грозило просто погрести под собой.

Но, собственно, и это тоже было не самым главным. На самом деле ее просто пугала встреча с его родными — другим далеким ей миром, куда она должна войти уже не просто гостьей.

В конце концов, компромисс был достигнут. Чтобы хоть как-то заинтересовать Стасю, Григорий обещал показать ей кедр! Настоящий, в самых что ни на есть природных условиях. Несмотря на то что Станислава считала себя человеком городским, природу она любила — сказалось наследство отца — знатного охотника и рыболова.

Итак, было решено, что в Дорянке они только переночуют, а потом, прихватив палатку, отправятся в поход, на природу — смотреть кедр.

И вот, преодолев двухдневное расстояние поездом, на тряском автобусе они уже подъезжали к Дорянке...

Все Стасе здесь казалось в диковинку. С видом тоскливой обреченности она оглядывалась вокруг. И люди какие-то не такие, даже в привычных березах — и в тех была чужота.

— Стась, ну ты хоть улыбнись, — оглянулся на нее Григорий, когда уже подходили к дому. — У тебя вид, словно я тебя на эшафот веду.

— А чо улыбаться, — поежилась она, вдруг заметив, что вместо «чего» и сама уже говорит «чо». — Иду к незнакомым людям.

— Они ж тебя не съедят.

— Ты не понимаешь. Ты здесь вырос, здесь все твое. А мне этот мир чужой. Я не знаю, как себя вести, что говорить, что делать. Я никогда не общалась с деревенскими людьми, тем более живущими вообще в другом регионе.

— Да обыкновенные люди.

— Ага, обыкновенные. Все, все другое. Культура, быт... Даже в литературе есть писатели-деревенщики, а есть урбанисты, — и добавила, обреченно вздохнув: — «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань...»

Она оглянулась: автостанция была... «уже за холмами»!

Когда низкая дверь двухэтажного домика на обочине дороги распахнулась, на лице Стаси... Хоть и с натяжкой — это могло сойти за улыбку: ей удалось правильно растянуть мышцы лица.

— Вот, маманя, познакомься: Станислава! Довез-таки! — довольно хмыкнул Григорий.

Маманя, чиркнув по ней взглядом, отступила, пропуская в дом.

— Здравсте... — Стася не успела оглядеться в маленькой горнице, которую правильнее было бы назвать просто кухней, как откуда-то из боковой щели выполз еще крепенького вида мужичок. В лице его показалось Стасе что-то, заставившее ее насторожиться. Впрочем, настороженность ее и так была предельной.

— А это папаня. Познакомься, папаня: Станислава.

Папаня, подойдя, взял Стасю за руку, помял ладонь, словно слепой, заглянул в глаза. И с какой-то кривой улыбкой, призванной обозначать галантность, выдал:

— Оч-чень приятно. — Стасе показалось, он даже пришаркнул ножкой.

И она снова натужно улыбалась, стараясь придумать хоть какую-то тему для беседы, чтобы не казаться уж слишком городской, рафинированной, оторванной от жизни народа. Но, как назло, ничего не придумывалось.

Чуть помявшись, папаня отошел в сторону и молча встал у стенки, как изваяние.

— Как добрались? — спросила маманя, круглое лицо которой показалось Станиславе сердитым.

— Нормально, — кашлянув, пыталась она адаптировать голос. — Сначала — поездом, потом — автобусом...

«Что она говорит? Неужто маманя не знает? А что надо говорить?»

Стася чувствовала, как мышцы ее лица против воли каменеют все больше.

— Тетка баню стопила, — глянула маманя на Григория. — Пойдете или сначала есть будете?

— Как, Стась? — обратился к ней Григорий, и она закивала обрадованно: «Уж лучше в бане сидеть...»

— Тогда собирайтесь, тетка ждет.

Стасю шокировали эти обращения «маманя», «папаня», «тетка». Там, откуда она приехала, были мамы, папы, тети. И вообще, там все было

привычно, как надо, а здесь казалось перевернутым вверх тормашками.

Холодильник в доме почему-то стоял не на полу, как принято, а был поднят на какую-то горку. Огромное пространство занимала печь, отчего внизу все жалось в скученности и тесноте. Через узенький проход, напротив друг друга, стояли два стола с одинаково потертыми клеенками, за одним из которых, как выяснилось потом, стоял ел папаня, за другим, сидя, — маманя.

Вдоль стенки вела лестница в верхние апартаменты, которые, судя по занимаемой площади, должны быть просторными, но расположиться, как выяснилось, там практически негде. Справа, в маленьком отсеке на походной койке, спал папаня, слева — будуар мамани и общая проходная с мигающим телевизором.

Во дворе, куда Станислава под сопровождением Григория пыталась выйти — она чуть не сломала ногу. Катакомбы из деревянных перегородок путали и перерезали пространство, превращая его в бесконечные загоны и тупички.

— Это что за лабиринты? — удивилась она.

— Папанины фантазии, — отозвался Григорий.

— Он тут окапывается.

— Окапывается? — не поняла Стася. — Это как? От кого?

— Да... Болезнь у него. Клаустрофобия — только наоборот. Боязнь не закрытого, а открытого пространства.

Изумлению ее не было предела...

Принялись собираться в баню.

Маманя подошла к Стасе и вдруг приглушенным голосом заговорщицки сообщила:

— Если у тебя есть деньги, в доме не оставляй, с собой возьми.

Стася кивнула, но посмотрела вопросительно.

— Папаня у нас... болеет этим делом. Может, и сам не хочет, а рука тянется, — еще больше снизила маманя голос. — Конечно, может, и ничего, но лучше для подстраховки возьми.

Ничего больше не спрашивая, Станислава кивнула... дав себе слово не удивляться... ничему. Воспринимать все с философским спокойствием.

И, тут же вздохнув, подумала: «Эх, знала бы моя мама...»

Тетка жила рядом — через забор.

— Сразу в баню? — с надеждой взглянула Стася на Григория.

— Да, — кивнул он. — Только к тетке зайдем.

— Еще и к тетке? Зачем?

— Надо. Она тоже член семьи. Родная сестра матери.

С трудом передвигая ноги, подходила Стася к следующему объекту. Уже перед самой дверью, пересилив себя, снова попыталась развязать узел, затянутый на физиономии. Даже нащупала тему, на которую побеседует с теткой. Расскажет, например, что у них тоже есть огород на даче, куда Григорий приезжал летом помогать ее отцу. Да и надо же, в конце концов, развернуть перед ними картину их с Григорием особенных отношений.

Но тетка, прищурившись, глянула остро, напомним старую хитрую ворону. Стася едва открыла рот, как та, уколов ее этим своим прищуром, спросила:

— Так что, живете, значит?

Кажется, рот закрыть ей все-таки удалось.

Что это было — вопрос или ответ — Стася не поняла. И как на это отвечать? Или тетка ответила сама?

Там, откуда она приехала, на эти темы вообще не говорят. Тем более — вот так, с ходу. Совсем не зная человека. Там — все тонко, деликатно. А здесь....

Тетка, не церемонясь, еще толком не поздоровавшись и совсем не зная Стаси, врзала по-простому:

— Живете, значит? Ну-ну...

И непонятно вообще, что она хотела сказать этим своим «ну-ну».

Уже сидя в бане, спрятавшись от любопытных глаз, едва живая Стася «прижимала» Григория к стенке:

— У тебя тут что — целый клан родственников?

Что же ты мне раньше-то не сказал?

Григорий молча улыбался, распаривая веник.

— Ну... Всем же интересно на тебя посмотреть.

— Зато я ощущаю себя... Зверем диковинным, в клетке! Этот дед, что провожал нас до бани, — кто он?

— Это теткин муж — дядя Вася.

— А женщина, что приходила?

— Дочка теткина. Тамара.

— А девочка?

— Внучка теткина. Тамарина дочка. Племянница моя.

— Ты бы мне заранее весь список составил! — даже в бане расслабиться не удавалось.

— А с папаней-то твоим что? Почему деньги с собой брать надо?

— Да... болезнь у него. Клептомания называется. Сам не хочет, а рука тянется!

— Что ж он у вас такой-то — насквозь больной? — скользнула Стася взглядом по надежному сруб бани. — И что теперь? Кошелек повсюду с собой таскать?

— Уж лучше таскать, чем без денег остаться.

— А вылечить его нельзя от болезни этой?

— Ага, — покивал Григорий, стряхивая веник над каменкой. — Горбатого, говорят, знаешь что исправит? — и тут же перекрестился на угол:

— Прости, папаня, дай бог тебе здоровья. Он через эту свою болезнь и так два раза в тюрьме сидел.

— В тюрьме? — ахнула Стася, невольно подумав про себя снова: «Знала бы моя мама... Какие родственники у меня намечаются! А я еще против своих бывших свекровей, столичных жителей, что-то имела!»

— Да не бери ты в голову, Стась! Папаня — он у нас так, человек несерьезный. Тюкает себе топориком, делает что-то во дворе — и ладно, — попытался успокоить ее Григорий.

Но Стася сидела, вся сжавшись. Не то чтобы она испугалась папани с его богатым прошлым. Просто ей почему-то вдруг до смерти захотелось... обратно домой. Туда, где живут ее близкие, друзья — такие же, как она, похожие на нее, которые находят себе в жизни совсем другие развлечения.

— Да ладно, Стась! Расслабься! Давай попаримся и плавать пойдем, — вдохновляюще помаhal над ней распаренным веником Григорий.

Стася заметила: дом хоть и располагался у самой дороги, но прямо за ней, плавно огибая берег, река образовывала небольшой залив.

— Вода в заливе теплая — можно купаться.

Выскочив из бани, они замерли в конце небольшой деревянной лавинки, еще не решаясь прыгнуть в воду. Стася оглянулась. За ними,

шурясь в темноте, следили окна теткингого ковчега...

— Что-то вы долго! — вместо «с легким паром» опять не то сказала, не то клюнула она, когда, наконец, разомлевшие, с полотенцами в руках, Стася с Григорием появились.

Григорий, как обычно, молчал. Даже несмотря на данное Стасе обещанье «разговаривать». А Стасе казалось, что тетка долбит ее этим своим взглядом, словно уличает в использовании бани не по назначению.

— Что можно в бане так долго делать?

— Так мы... — ступевалась Стася, — плавать ходили. Парились, а потом плавали.

— А, ну-ну! — снова долбанула та — клюнула этим своим «ну-ну».

Стася, конечно, могла бы сказать... Только вряд ли бы ее ответ понравился тетке. Что она согласна сидеть в этой бане... Хоть до утра! А потом — сразу на поезд. И пусть тетка не обижается: против нее лично она ничего не имеет. Просто... Ну не хочет она играть в эти дурацкие игры! Перекидывать мостик, который все равно не перекидывается. Разве виновата она, Стася, что родом из семьи интеллигентов, что родители оба с высшим образованием и сама уже получает второе. Да, собственно, и не в этом даже дело!

Но почему сейчас она, взрослый человек, должна жариться как на углях в попытке вести диалоги, которые никак не ведутся? Ну как она может найти общий язык с папаней, болеющим kleptomанией, теткой, говорящей «ну-ну», и сердитой маманей? И должна еще глупо оправдываться, что-то объясняя.

Но... в бане не запрешься и на вокзал не сбежишь.

«В конце концов, ведь это я приехала в гости, — попыталась взбодрить она себя. — Пусть принимают!»

— Спасибо за баню, — улыбнулась она тетке, растянув мышцы лица в правильном направлении. — Отлично попарились!

Уже потом, после ужина, когда маманя на деликатес угостила их только что подоспевшей клубникой, взбитой со сметаной — йогуртом собственного производства, Григорий куда-то исчез. Стася, чтобы заполнить образовавшуюся

паузу, принялась рассматривать традиционные в старых домах фото на стене в рамках.

— Это два моих сына, — вздохнула маманя. — Их ведь у меня трое было...

Стася кивнула торопливо, зная о трагедии.

— Теперь один вот остался. Если уедет... — она не договорила. А Стася, посмотрев на нее, вдруг почувствовала причину ее опасений. — Дед наш, отец-то есть, ненадежный. А дом деревенский. Огород. Вода далеко...

— А это кто? — спросила Стася, чтобы соскочить со щекотливой темы, указывая на фотографию двух молодых лиц: парня со вздернутым чубом и выражением лихости во взгляде и симпатичной девушки с двумя торчащими хвостиками.

— Так это ж... — в глазах мамани вдруг проскочил игривый огонек. — Это ж мы с дедом! Еще в десятом классе!

— Да неужели? Вы так давно вместе? — удивление Стаси было искренним.

— Так... он еще в школе мне предложение делал, — зарделась неожиданным румянцем маманя. — И так вот всю жизнь... — и вздохнула, недоговорив.

— Правда, ходок был. По молодости-то. Два раза пытался — в новую семью. Как в тюрьму сходит — новая женщина. Собирался жить основательно. За вещами приезжал. А как приедет — не выгнать! — и маманя вдруг как-то по-особому молодо улыбнулась.

— Значит, есть в нем что-то... — Стася всмотрелась внимательней в лицо молодого папани. — Нравился, видать, чем-то женщинам.

— Так... известно чем! — в глазах мамани проскочило неожиданное кокетство, странно контрастирующее с ее внешней суровостью.

— А он что — всегда такой неразговорчивый? — вспомнила Стася молчаливую тень Командора, бродящего по кухне.

— Так ведь... он же мужик! — пожала плечами маманя. — А мужику зачем быть разговорчивым?

— Ну а как же... Дома... разговаривать? — терялась Стася, не решившись развернуть дискуссию о близости душ и прочих тонких материях.

— А чо с ним разговаривать? Мужик — он мужик и есть. Он разве для этого?

— Но... Как же вы живете, не разговаривая? — кажется, Стася впервые столкнулась с по-

добной философией. Прожить всю жизнь, вырастить троих детей, не разговаривая, — это еще надо суметь!

— Так если мне поговорить надо — я к женщине пойду. К сестре, например. А с мужиком чо разговаривать? Он чо поймет? Не, мужик — он не для того! — упрямо качала головой маманя.

Стася внимательней присмотрелась к фотографии.

— Григорий на него что-то не очень похож.

— А он больше на двоюродного деда похож. И внешностью, и характером.

Что-то зудело у Стаси внутри, так и хотелось спросить: «А двоюродный дед, он как — тоже ходок был?» Но вместо этого она сказала:

— А вы в молодости-то... хороши были! Наверное, от кавалеров отбою не было...

— Хватало, — горделиво улынулась маманя. — Только как дети пошли один за другим, все кавалеры и улетучились...

Спать их в этом несурзном доме положили... Стася даже не сразу и поняла — где. Там, где кончалась жилая половина и находился еще один спуск на первый этаж. Значит, они были на втором. Отгороженный деревянным барьером от лестницы — прятался закуток с развешанными по стенам над кроватью предметами деревенского быта: рядом с хомутом висело на гвозде дырявое сито, чуть правее — рыбацкие сети, прикрытые прохудившейся соломенной шляпой. Были здесь и предметы искусства: грубо намалеванная картина в пластмассовой рамке и гитара без струн.

— Тебе же самой будет тут уютней, — убеждал ее Григорий. — Внизу все ходить будут. Батя встает рано, начнет шаркать...

Стася не возражала: она и сама была рада забиться в любую щель.

— Просто дом какой-то непонятный. Вроде двухэтажный, а расположиться негде. Ладно, — зевнула она, радуясь, что этот тяжелый для нее день наконец-таки прошел. — Надо попытаться поскорее заснуть — вставать рано.

Завтра их ждал поход за кедром.

Но... их утренний запрограммированный поход не состоялся. Хотя рюкзаки, собранные с вечера, уже дожидались на кухне.

— И очень хорошо, что проспали. Выспалась хоть, — Григорий словно не замечал ее зашоренного кислого вида: «Еще один день ходить раскланиваться?»

— Да и дома побыть надо. Неудобно как-то сразу уезжать...

— Скажи, потому и не разбудил. Зачем же тогда и обещал?

— Я свое слово сдержу. Завтра поедем. Увидишь ты свой кедр. А сегодня пойдем по Дорянке погуляем. Я тебе ее хоть покажу. И с Болдышевым познакомишься.

— Что? Еще и с Болдышевым? Ну уж, знаешь... Да это же просто насилие над личностью!

«Мало мне теток, мамань, папань, Тамар, дядь Вась...»

— Ну, Стась, что делать, если он хочет с тобой познакомиться! Врач тоже сначала делает больному больно, чтобы потом ему было хорошо. Если уж ты сюда приехала, надо пройти по всему кругу.

Кажется, время на философском факультете Григорий зря не терял.

— Нет уж, к Болдышеву — ни за что!

До завтрака они еще успели сходить искупаться — для этого не требовалось много времени, нужно было просто пересечь шоссе.

Стася, словно во сне, оглядывала место. Вечера, когда они плавали здесь после бани, вернее во время ее, она ничего не успела разглядеть толком. Разве что прищур окон теткиного дома, просвечивающий их словно рентгеном.

Сегодня залив выглядел не таким уж и маленьким. По нему плавали катера, лодки, рыбаки удили рыбу. Несколько поваленных на бок катерков сохли тут же, рядом с местом, где они купались. На другой стороне залива ярким контрастом вытягивались длинные худые многоэтажки.

При дневном свете местечко выглядело даже очень... Но Стася, подавленная всем этим «клептомано-клаустрофобически-наоборот» миром, воспринимала и окружающее — всего лишь как его продолжение.

После обеда Григорий все-таки повел Станиславу к Болдышеву. Они долго шли, огибая залив по кривой дуге береговой линии. На той

стороне залива находилась новая Дорянка. Дом же Григория располагался в старой ее части.

— Не знаю, дома Болдышев или на даче? — взглянул Григорий на часы.

— Философ Болдышев такой состоятельный, что у него есть и дом, и дача?

— Ну, дача — громко сказано. Так, сарайчик, вроде теткиной бани. К тому же философ он в свободное от работы время. А так он в местном техникуме преподает. И в школе подрабатывает.

— Философом?

— Учителем литературы и русского языка.

Философ Болдышев сидел на крылечке маленького скворечника и тесал топориком деревяшку. Он взглянул на Стасю с той же пронзительной мимолетностью, как и тетка, словно клюнул.

«Что они тут все такие клювоглазые, что ли?»

На Болдышеве был длинный белый фартук, почти волочащийся по земле, — впрочем, о том, что когда-то он был белым, приходилось только догадываться.

Они познакомились, приглядываясь друг к другу.

— Так что, к тебе теперь, как к президенту, из самой Москвы приезжают? — спросил он Григория. — Кто бы ко мне из такой далищи приехал!

Кстати, Стасю предупредили: философ Болдышев страдает повышенной язвительностью. Была она наслышана и про его подвиги. Как молодых самоуверенных философов он спускает с лестницы. Примерно как Иосиф Манделштам спустил однажды молодого поэта (хотя непонятно, как он, сам такой хрупкий, мог кого-то «спустить»?).

Болдышев равнялся на классиков.

— Как вам философские труды Григория? — строго спросил он.

Стася еще лихорадочно соображала, что ответить, учитывая повышенную язвительность философа, как стоящая тут же жена Болдышева атаковала ее новыми вопросами:

— А как вам наша Дорянка? Понравилась?

— Да... милое местечко. Правда, я еще толком ее не рассмотрела.

— А как мама Григория? Правда, хорошая у него мама?

— Мама? — ком в горле разросся до неприлич-

ных размеров. — Да, наверное, но я не слишком хорошо ее знаю. Но, наверное, хорошая.

— Григорий — это... явление! — поднял Болдышев кверху указательный палец. — Как часть природы. Это надо понимать!

Вероятно, он считал, что Стася до этого понимания еще не доросла...

Когда возвращались обратно, огибая кривую дугу залива, настроение у Стаси значительно улучшилось. В конце концов, и философ Болдышев оказался не таким уж страшным. И с лестницы ее не спустил.

— «Болдышев, Болдышев, в фартуке белом, что ты здесь строишь, кому?» — слегка переврала она строчку Брюсова.

— Что с тобой, Стась? — сбоку посмотрел на нее Григорий. И тут же сам за нее ответил: — Понятно. С чувством выполненного долга Станислава возвращалась домой.

«И как догадался? Впрочем, ведь он же «явление, которое надо уметь понимать!»

С погодой в походе им явно не повезло. Ночью резко ударили заморозки, и, пока они ехали на маленьком пазике, добираясь в утренних сумерках до места, Станислава успела изрядно продрогнуть.

Григорий протащил ее по просеке больше десяти километров, чтобы поставить палатку в каком-то уникальном местечке. В чем состояла его уникальность, Стася так и не поняла, но продуваемость палатки оказалась действительно уникальной.

Станислава все порывалась увидеть кедр, но, как выяснилось, до кедра, как до всего великого, еще надо дойти. Вдобавок, у нее разболелся зуб, и никакой анальгин помочь не мог, пока Григорий не вылечил его варварским способом, запихав ей в рот чуть ли не горящую головешку. Предварительно убедив, что на войне только так и справлялись с зубной болью. Станислава хоть и не была на войне, но испытала самые разнообразные ощущения.

Наконец палатка на продуваемом месте была установлена, обед сварен, и они отправились на поиски кедра. Долго бродили по лесу, но этот диковинный зверь им все не попадался. Пока, наконец, указав на хилый зародыш,

едва достигший Станиславе до пояса, Григорий сообщил:

– Вот он! Кедр! – и уважительно потрогал его за макушку.

– Это – кедр? – изумлению Стаси не было предела. В юности она была на Алтае, видела настоящие кедры в метр толщиной, с высоко вознесенными к небу кронами. Чахлый зародыш вызвал у нее некоторое недоумение. – Да это же... даже пародией на кедр не назовешь!

– Ну так что же... Если у нас кедры такие! – развел руками Григорий. – А что ты хочешь – предгорья северного Урала!

Стася вздохнула: «И чего ехала – даже путный кедр увидеть не удалось!»

– Ну очень нетипичный...

Потом, уже вечером, когда они сидели за наконец-то расплавленным костром, Григорий как бы невзначай сказал:

– Представляешь, а маманя-то... к старости вдруг стихи начала писать.

– Стихи? – в воображении Стаси выплыло круглое сердитое лицо. – Настоящие стихи?

– Наивные, конечно. Но – стихи.

– Может, она скоро и философские труды писать начнет? Будет второй Бердяев или Соловьев?

– Все может быть, – Григорий не спеша помещивал головешкой в костре. – Маманя – она человек с потенциалом.

Ночь в палатке пробивала ознобом. В сон врывалась всякая неразбериха. Станиславе вдруг привиделось круглое лицо мамани. Маманя сидела, покручивая в руках клубок, и, поглядывая на Стасю, говорила нараспев:

*Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя.
То как зверь она завоет, то заплачет как дитя...*

Следующий день потепления не принес. Едва живые, заторможенные после бессонной ночи в палатке, возвращались они в Дорянку.

– Ну и лето у вас, – передергивала дрожащими плечами Стася. – То жара, а то не знаешь, куда от холода деваться.

– Так... климат резко континентальный, – отвечал Григорий, волоча сзади безразмерный рюкзак. – А что ты хочешь: предгорья северного Урала.

– Ну все-то у вас не как у людей!

А дома было тепло...

– А мы как раз печку истопили, – сказала маманя, усаживая их за стол.

– Давайте-ка – не ходите сегодня в сени. Спи-те здесь, внизу. Лежанка у печи широкая – отогреется хоть. Прикроетесь пологом – вот и будет вам отдельная комната.

В эту ночь, упав в печное тепло, Станислава заснула сном младенца.

А утром Стася увидела вдруг... маму.

Стася не видела маму уже пять лет. Потому что пять лет мамы не было.

Она так обрадовалась, даже во сне боясь, что это сон и мама исчезнет... Впрочем, она и не поняла даже: сон это, явь или что-то другое, на стыке двух реальностей.

Мама смотрела на нее... С такой знакомой, всё понимающей улыбкой, чуть покачивая головой. Словно желая что-то сказать – и не говоря. Будто надеясь, что Стася поймет и так, по ее взгляду.

Стася явственно видела, ощущала ее вблизи. И ей так хорошо, так радостно было ее видеть, она так по ней соскучилась! И она хотела только, чтобы это длилось как можно дольше, не важно – сон это, явь или что-то другое.

А мама, тихо улыбаясь и все так же глядя на Стасю, сказала вдруг:

– Знаешь, дело ведь не в образованиях... Это все пустяки. Дело – в простоте и правде.

Стася еще лежала с закрытыми глазами, пытаясь удержать видение. Но сквозь него, обнаруживая другую реальность, вкрадывались в сознание звуки. Она слышала, как бесшумно ходила по кухне маманя, начиная утренние хлопоты. Как, прошаркав тапочками, вошел папаня.

– Тихо ты! – прищкнула маманя. – Спят ведь. Разбудишь!

– Спят? – папаня смачно оприходовал слово, словно пробуя его на вкус. – Вместе? – и хохотнул с ноткой легкой зависти. – Вместе-то хорошо.

– Ты доболтаешь, – строго сказала маманя.

– А что – вдвоем и вправду хорошо. Тепло, – и он снова вздохнул. – Пусть спят.

Шарканье прекратилось. Через минуту голос папани раздался в другом месте:

– А чьи это вещи?

– Станиславины! Насквозь промокшие! –

сердито сказала маманя. — Вот, развесила просохнуть.

— Заботишься?

Маманя вздохнула:

— Так ведь... кто еще... — и не договорила.

Папаня вышел.

Через несколько минут раздался грохот. Это снова вошедший папаня сбросил возле печи охапку дров.

— Ты чо? — сердито спросила маманя. — Вчера ж топили. Нешто летом каждый день печь топить?

— Так ведь... спят же! — ответил папаня, проглатывая собственный голос. — А печь простыла. Холодно.

— Ну — топи. Тогда я им оладьи к завтраку на печи соображу.

Через несколько минут послышалось потрескивание дров, жужжанье самовара. Маманя постукивала ложкой, замешивая тесто...

Вдруг Стася услышала голос тетки. Та вошла и крикнула, напрягая голос:

— Не уехали еще?

— Тс-с! — присмирила ее маманя. — Спят.

Находились, видать, по своим походам.

— А я вот баночку варенья принесла, — придумала голос тетка. — Пусть возьмут. В городе-то такого не поешь. Ну, раз спят, позже зайду.

— Постой, слышь-ка чо... — маманя снизила голос и заговорщицки продолжила: — Стася-ка-то на печи Григорию что-то свое нашептывает, нашептывает... Думает, я не слышу.

— Ну? — заинтересованно выдохнула тетка. — А ты чо?

— А я — чо? А я все слышу! — и маманя вдруг звонко, на всю кухню, совсем по-девчоночьи расхохоталась.

Стасе надоело лежать с закрытыми глазами. Она откинула полог с ощущением, что она дома.

— С добрым утром! — сказала и вдруг почувствовала, как сами собой разгладились стянутые в узел мышцы лица.

— Как завтрак? Готов?

От печки глянули на нее, просияв, три лица: теткино, маманькино и папанькино.

□

Наталья ЛАВРЕЦОВА —

прозаик, поэт.

Родилась и выросла в Карелии, в городе Петрозаводске.

Окончила Ленинградскую лесотехническую академию им. Кирова, работала ученым лесоводом

в Пушкинском государственном заповеднике «Михайловское».

В 1997 году окончила Высшие Литературные курсы.

Печаталась в журналах «Север», «Carelia», «Двина», «Наш современник», «Слово», «Согласие», «Мир женщины», «Доля», «Бийский вестник» и др.

Автор более десятка книг.

Лауреат премии карельского писателя Бориса Кравченко,

Международной Пушкинской премии (Нью-Йорк), премии администрации Псковской области (2010 г., 2017 г.), премии «Журнальный вариант» (Симферополь, 2015 г.) и др.

Член Союза писателей России.

В настоящее время живет в Пскове (д. Савкино).

